Арсений Гончуков

РУСЛАН

Рассказ

На него смотрели косо, его побаивались — такой человек-угроза есть в каждой стае. Такой человек живет в отдельной своей вселенной. Он может не мешать, не досаждать остальным напрямую, но по совокупности таинственных причин его никогда не принимают в общество, обходят стороной, а еще на него, как на крюк в прихожей, навешивают небылицы, питаемые слухами и страхами. Сотни и тысячи лет назад такие люди становились охотниками одиночками или разведчиками на дальних рубежах, отшельниками или шаманами и хорошо зарабатывали.

Большое красивое правильное лицо с квадратной челюстью и крутыми ядрами желваков.

Круглые темные выразительные глубоко посаженные глаза, ранние романтические мешочки под ними.

Высокий, худой, жилистый, сильный.

Красавец, одним словом.

Ходил по району, неотразимый как Бельмондо, курил, сплевывал, шугал пацанов помельче, братался с теми, кто постарше, не церемонился со взрослыми, не робел перед девчонками. Которые влюблялись в него с пол-оборота, и потом преследовали его как тени, закатывая истерики, заламывая руки.

— Это Рус! Рус! Смотри! Куда они опять? Эй, пацаны! Вы где будете? А Рус? — Кричали девчонки через улицу, хватая друг дружку за футболки.

Пацаны медленно поворачивали головы, смотрели, меряли взглядами, не отвечали.

Шли «зависать» на заброшку, в бывшую военную часть, там делали костер и жарили хлеб с голодухи.

Денег не было совсем, ни у кого, одну и ту же одежду носили годами, донашивали братья и сестры, семьи жили впроголодь, девяностые — как послевоенное время.

Пацаны у костра курили, что насобирали, бело-желтые бычки, промокшие и подсохшие, пахли собачьим дерьмом, но если привыкнешь — кайф. Засмолишь такой крохотный пятачок, да вдохнешь в легкие тяжелый крепкий сгусток дыма, ощущение, будто мягким, ласковым кулаком в грудь двинули, только голова кругом идет.

А ночью туда же, к костру на заброшке, корефан Денчик «Лакосты» приносил — ботинки ворованные из тамбура, популярный был у нас вид спорта, тамбуры чистить. Канистры, автомобильные аккумуляторы, ботинки, сапоги, велики, даже коляски брали, особенно новые, импортные.

Когда Сережа был поменьше, мать говорила про Руслана с опаской, мол, держитесь от него подальше. Рус раздражал взрослых своей самостоятельностью. Никого не боялся, здоровался, заговаривал, как ровня. Хотя было ему... шестнадцать, семнадцать лет?..

— Драссьте! Как ваши делишки? — и так широко улыбался, что улыбался и я, кричал сразу в ответ «Привет, Рус!», но мама не здоровалась, а только сжимала губы.

Где это видано, чтобы вот так молодежь обращалась к взрослым? Почему он не в школе? В каком он классе?

— Мама, его в третий раз на второй год оставили! — восхищенно крутил голову за уходящим Русом я.

Мама вдруг говорила:

— Лицо у него белое... как застывшая маска! Худой, как скелет.

Руслан, в отличие от нас, жил не бедно, они жили с матерью у тетки его по отцу в трехкомнатной квартире в «красных домах» — кирпичных десятиэтажках неподалеку от фруктовской коробки, состоявшей из дешевых «панелек» девятиэтажек. Никаких типовых советских ЖЭКов, в «красных» жила кооперативная элита.

Тетка Руслана была успешным риэлтором, в 90-е профессия опасная, но если не убьют, можно хорошо заработать. Ее муж был моряком — полгода тетя Валя вязала ему носочки, ждала, скучала, писала на тетрадных листах письма, а когда он возвращался, полгода все грызлись: батю тихо, но с каждым днем все более явно ненавидели и мечтали о дне, когда он снова отправится тянуть баржу с щебнем по маршруту Обь – Катунь...

Денег у них куры не клевали, дома рубиновые ковры длинного ворса, за городом дача, обитая изнутри рейкой, что считалось особым шиком, но главное — новенькая «Волга» у дома, ГАЗ 31029 с меланхолично скругленным покатым капотом и столь модными в то время квадратными фарами. Посмотреть, «заценить волгарь» Руслан водил пацанов. Автомобиль дожидался из плавания хозяина, а в его отсутствии чистился, мылся, натирался всей семьей до блеска, как ботинок перед походом в драматический театр.

Сам Руслан класса с седьмого пустился во все тяжкие, начал бухать, воровать, девочек-школьниц массово лишать невинности по темным душным подъездам, у него частенько, если не наказывала тетка, были жвачки и сиги, импортный шоколад и газировка, а если надо Руслан мог и нос сломать — конкуренту, обидчику, забредшему на район дерзкому забулдыге. Все самое запретное, сладкое, недоступное для большинства бедных и еще таких советских пацанов было связано с Русланом. Но кроме того он был красивый, смелый и сильный. Настоящий сверхчеловек.

И было у него бледное лицо, похожее на маску, мама верно подметила. Здоровье у Руслана было от природы слабое — послевоенное полуголодное детство матери, какое уж тут здоровье. Кулаки тяжелые, костяшки острые, а запаса прочности в теле никакого.

Всю жизнь Серега нет-нет, да и вспоминал Руслана. Хотя они не были друзьями. Руслан для всех был героем, он жил ту жизнь, которую все мальчишки мечтали жить, но мало кто мог.

Девчонки висли на нем, ходили за ним — каждый раз новая.

Он с ними крутил, потом бросал и вот уже следующая впивается в его руку.

А предыдущая ревет по подъездам и пьет водку.

А через неделю другую ведет, как на убой, счастливую, куда-то в подъезд или в кусты у гаражей за школой.

Невозмутимый, строгий, холодный красавец Рус.

Была в его жизни простота, безобразие, искренность, ненасытность.

Нас было много, девчонок, мальчишек, мелочи — в этих дворах. Он возвышался легендой над пестрой массой дворовых судеб.

Марата из соседнего подъезда отец-татарин отвел в мечеть, а русская мать родную сестру Марата Юльку покрестила в православной церкви. Все детство Юлька немилосердно дубасила Марата тапочкой по жопе, обзывая «татарином», выкрикивая: «Ты мне за триста лет татаро-монгольского ига ответишь, гад!» Бить брата сестру научила мать, которая частенько колотила мужа. Жили они весело, душевно. Как разбойники. Потом сдох Мухтар, любимая в семье немецкая овчарка, ветеринар констатировал, что умерла псина от рака легких — в семье курили все, без стеснения, без остановки, во всех помещениях, а умерла почему-то некурящая собака. Затем умер добродушный татарин отец Марата, и сын с похорон — запил беспробудно на десять лет. Как бы сегодня сказали, не «проработал травму». Пил до беспамятства, до вылезающей через горло печени, до истерики посреди улицы, где, переступая с пятки на пятку, стоял голый, в одних приспущенных обосранных семейных трусах — в белой горячке Марат выходил за водкой, а возвращаясь забывал, где его дом. Соседи привыкли, родные тоже, но вот у дома снова появился гроб, уже с Маратом. Как будто обтянутая красным сукном с черным околышком крышка прописалась на их улице, у их подъезда, как будто она на это имела право. Жизнь у матери и сестры началась одинокая и спокойная.

Серега хорошо помнил добродушно-глуповатое лицо Марата, его мягкий звонкий голос, а еще помнил *гипсовую дырку для писюна*. Классе в девятом Марат, катаясь на санках с горки, въехал в дерево и сломал бедро. Заковали рыцаря в гипс от пяток до солнечного сплетения. Когда выписали из больницы доносить гипс месяцок на воле, всю детвору в напряжении держал один грандиозный вопрос — если Марат закатан в бетон по самые уши, то как он ходит в туалет?!

Марат снял штаны и как часто делают мальчишки, гордо продемонстрировал нежно-пухлую письку, торчащую из аккуратной круглой белой гипсовой дырки.

Дырка для писюна. Спустя тридцать лет Серега отлично ее помнил. Хотя мысль о подобной памятливости мозга не раз его озадачивала. Зачем мозг, забывая подчас необходимое, десятилетиями хранит вот эту дырку? В память о человеке?

Никто не знал, как звали Шрама. При этом Шрама знали все. Серьезный, умный, цепкий начинающий бандит, который сам преступлений не совершал, но везде и всегда был тут, рядом, в деле. Вездесущий и незаменимый, на вечном подхвате. Лицо испещрено белыми, мелкими, сантиметр-два, шрамами, и среди них две побольше, идущие через щеки и лоб борозды. Легенда о происхождении шрамов похожа на страшилку, но кажется была правдой — спал маленьким на верхней полке плацкартного вагона, с родителями на юг ехал, поезд ночью дернуло, скатился и упал лицом на стол. А на столе стоял стакан.

Зато Ваню Мачина Серега помнил по имени. Потому что Ваня не раз в кровь квасил Сереге нос. Ваня был мелкий шустрый цыганенок, умевший хорошо и чуть ли не профессионально драться, он сражался без жалости и внутренних тормозов — сходу пробивал в нос, глаз или в колено, стрелял кулаком без предупреждения и подготовки. Сережа был в полтора раза крупнее, но в лицо человека бить научился не сразу. Ваня цинично начинал первым, всегда раньше, чем предполагал соперник.

Дрались они с Серым за титул «второго самого сильного пацана в классе». Первым был Вася Рамушев, Серега его помнил, потому что Вася был богатырь — в три раза больше самого крупного мальчика в классе, — двоечник, балбес, громила, переросток, кудрявый, деревенский, говорил на «о», драться с ним никто не пробовал... Потом по силе шел Ваня Мачин, хотя ему было плевать на статусы. И Серега, которому статус был нужен, как троечнику-хорошисту, сидевшему на второй-третьей, а не на последней, как Вася и Ваня парте…

Сережа так и остался замыкающим тройку. Цыганенок Ваня Мачин, рассказывали, уже в юности был смертельно нокаутирован героином. Улыбающегося пышноволосого Васю спустя годы Серега встретил на заправке, у того была ГАЗель, Вася шоферил. Обрадовались, обнялись, Серега поймал себя на мысли, что Вася Рамушев не такой огромный и совсем не страшный. Добродушный, улыбчивый богатырь из детства!

Да, надеюсь все-таки, про Ваню Мачина — неправда.

Неправда.

На самом деле он в цыганском таборе, который уходит в аромат трав, в акварельный закат, в небо. А иногда Ванька жестко и первым бьет по мордасам зарвавшихся олухов, правильно, пускай свое место знают! Ваньк, салют тебе! На заднюю парту — со второй!

Ограбили кладовку физрука. Серега, Шрам и Азиз — толстый наглый и очень энергичный татарин, с щедро высыпанной на лицо толпой прыщей.

Грабили, руки потели, но не дрожали. Азиз криво улыбался и приговаривал: «Не ссать, не ссать», хотя понятно было, что сам он ссал.

Шрам был спокоен, как опытный ассистент.

— Тяжеленький. Где взял? — Азиз перехватил гвоздодер, который Шрам достал из складок широких синих спортивных штанов.

— Батин.

— Пацаны, может... вечером, когда стемнеет, пойдем? — у Сереги предательски дрогнул голос.

Пацаны приглушенно заржали. Вечером школу закроют, налетчик хренов!

— А теперь... Га-а-рбатый! — шутил цитатой из фильма Азиз.

Дверь ломали от души, Шрам висел на гвоздодере, воткнутом в петли, раскачиваясь, дергаясь всем телом. Раз, еще раз, и еще! Гвоздь постепенно вылезал свежим гнутым стальным бочком. Скрипнул, еще раз, еще... Шрам подтянулся и резко обвис — нет, он слишком легкий! Гвоздь скрипнул еще раз, остановился. Еще дерчок, скрип гвоздя, дерчок...

— Н-н-уу! — Азиз прыгнул и повис на Шраме, как два жука на ветке, и тут же оба рухнули на пол, Серега не успел даже руку протянуть.

— Бля! Больно! — Шрам подвернул ногу.

Замок выдрали с мясом, то есть с петлями, гвоздями, с хорошим куском двери.

Украли мячи, баскетбольные и волейбольные. Клюшки, две штуки. Шлем хоккейного вратаря с решеткой — как у рыцарей! Волейбольную сетку. И — главный трофей — рупор, спортивный громкоговоритель!

Заслышав шаги в коридоре, выпрыгнули из окна кладовки. Приземлились на куст колючего шиповника. Со всем барахлом решили двинуть в гараж к Азизу, у отца его, водителя автобуса, огромного злого шарообразного мужика, когда-то был Запорожец. Счастливые все трое, с застывшими улыбками на довольных рожах, мы шли и ничего не говорили, всех захлестнуло и заполнило романтикой настоящего преступления, налета!

— А прикинь, ты кричишь, выходи, Горбатый! И вместо него выходит Тартилыч! Прикинь?! Аха-ха-ха!

Азиз заливался сначала беззвучно, потом начинал ржать, как жеребенок.

Тартилычем прозвали, в честь черепахи Тартиллы из мультика, физрука Иван Сергеича, за его огромную в пятнах лысину, похожую на черепаший панцирь.

Весь день мы искали батарейки для громкоговорителя. И нашли! Хватило их на пару часов. Потому что мы ходили по району и без умолку орали в громкоговоритель, призывая к отмене уроков, к увольнению некоторых особо нелюбимых педагогов, к запрету домашних заданий, а также признавались в любви к одноклассницам, требовали свиданий и поцелуев!

Вычислить орущих на весь район в ворованный громкоговоритель непутевых грабителей у участкового не составило труда.

Смотреть на родного физрука Тартилыча из-за решетки Сереге было непривычно. Самое удивительное, что Тартилыч не был зол и не требовал расстрела воришек на месте. Напротив, лицо у него было печальным, а когда он разглядывал нас в «обезьяннике» на его губах, кажется, мелькнула улыбка.

Вам бы понравился Рус, я отвечаю. Рус был индейским вождем наших уличных джунглей. Сильный, спокойный, независимый. Он нес опасность и стихию.

Легкая ткань спортивных штанов, лоснящаяся снаружи, шероховатая изнутри, при быстрой ходьбе шлепала по голени, как флаг, с чуть слышным хлопком. Он мерил дворы наших улиц Фруктовая, Усилова, Родионова, Яблоневая, их бесконечные тропки, дорожки и закоулки, школы, сады, стадионы, овраги, откосы, заброшки, точным уверенным штангель-циркулем фирменной походки. Немного вальяжной, небрежной — при силе. Он шел не размашисто, не развязно, но так стремительно, что ни догнать, ни остановить его было нельзя.

— Рус! Рус! Подожди меня! — вскочила с корточек девчонка, махнув юбкой по пыльному асфальту. Рус даже не обернулся.

Кинулась за ним, только светлая, ровная, закрывающая глаза челка подпрыгнула. По-детски кривые бледные ножки замелькали, понесли вразвалочку. Смешно балансиром, когда бежала, отставила правую руку, как деревенская. Блондинка до прозрачных ушек, до розовости на сгибах пальцев, Оля была местное хрупкое и совсем еще юное растеньице, со светлыми глазами цвета неба на детском, с глупинкой, лице.

Руслан не обернулся, только когда догнала и защелкнула на его руке тонкий замочек своей, не отдернул, незаметно прижал.

Семенила, сбивалась, не могла подстроиться.

— Рус, Рус, я так скучала! А ты... скучал? — Олька светилась глупенькой светловолосой лампочкой, — Ну скажи, скажи, что скучал! — Теребила, тормошила его...

Руслан думал гадал о том, кто же ночью поставил на кирпичи свежую шаху Пы́рого, то есть кто снял колеса с новеньких Жигулей родного дяди Руслана, если на районе каждый вшивый пес знает, кого трогать нельзя, а уж дядю Руслана точно трогать нельзя… Яблоневые? Печорские? Афонинские? Сенные? Или, что хуже, залётные? Мещерские? Кузнечихинские? Колеса были нулéвые, муха не сидела, колпаки зеркальные — редкость, заводская штамповка, новенькая, начищенная — слепила на солнце по глазу бритвой.

Желвак Руслана играл, метался запертым зверьком в уголке челюсти. Олька заметила, запрыгала на кривых бледных пружинках:

— Дай! Дай! У тебя какая? Клубничная?!

Руслан бросил языком жвачку к резцам, ухватил ее зубами, оттянул пальцами, оторвал кусок и сунул в рот Ольке, которая умудрилась вечером и сеструху этой жвачкой угостить. В то время это было нормально, делиться дефицитной резинкой.

— Малинка! Малинка! Что-то новенькое! Где взял?

Руслан резко дернул вверх Олькину руку, как крылышко птицы, и только благодаря его реакции она не растянулась на дороге, угодив ногой в глубокую трещину.

Посмотрел на спасенную, улыбнулся, будто только что заметил ее рядом.

На закате, когда чай вечера заваривался крепче, на бетонных блоках, вросших в траву за гаражами, Руслан раздевал Ольку. Раздевал полностью, не начиная целовать, пока не снимет с нее трусики, и когда она смущенно хихикала, переминаясь от нетерпения, Руслан брал ее — обнимал и впивался и пил хрупкость, розовость, юность, засунув два пальца ей в промежность, так, что Олька начинала задыхаться, будто страшно обожглась, и ловила ртом воздух, закатив высоко под веки глаза.

А после опадала мягкой слабой тряпочкой на его запыхавшееся плечо, похожая в сумраке на бледный стебелек, выбившийся из-под асфальта.

Руслану приходилось ее одевать, натягивать на Ольку трусы, она путалась в них пальцами ног, чуть не падая назад, и они начинали смеяться, не тихо, украдкой, а в полный голос на весь гаражный кооператив. Руслан смеялся хрипло, гоготал, как мужлан, и в грубом смехе над жалкой тонкой веревочкой поношенных трусиков было столько радостного трепета, сколько в Руслане никто не мог предположить.

Столько нежности в нем не было с тех пор, как мама мыла его в ванной, трех-пяти-летнего. Очень смутно Руслан помнил что-то такое в раннем детстве, но, может, это было во сне или фильме.

Любовь за гаражами была единственной тропкой к нежности, невинности, детству, которое в то время мелькало и заканчивалось, не успев ни согреть, ни запомниться никому из поколения мальчишек на переломе.

Поцеловал Олю в венку на шее — как поставил точку, и они смешались с густыми сумерками.

Вам бы понравился Рус. Он защитил бы любого. Взял под крыло, как всех нас тогда, сам о том не догадываясь... Потому что Руслан был последний индеец, последний вождь — коренной житель нашего детства, родных золотистых от пыли дворов, наших прерий.

Сначала дрались за что-то определенное, под конец били друг друга по детской злобе и ради азарта. Серега с Азизом знали, что после таких драк на мордочках младшеклассников даже царапин не остается, не то, что синяков. Сидели у школы, смотрели бой. Азиз ржал, Серега скучал, наблюдая, как гладиаторов в синей школьной форме поддерживают одноклассники, которым, судя по лицам, своих друзей ничуть не жаль.

Серега не раз бился в темном цоколе у запертой двери в заброшенный зал, еще с Ванькой Мачиным, а потому знал, что такое бить человека ногой по лицу, и что такое лежать на полу под бьющим тебя головой, руками, ногами телом, помнил, что пол гладкий, скользкий, холодный, а кровь — теплая и соленая. Но Серега давно старшеклассник, а вот малые Шпала с Батыем как раз в нужном возрасте бессмысленных, чаще всего бескровных, но яростных сражений, какие бывают у крохотных мопсов на остановке.

Батый — мелкий коренастый якут, переехавший с семьей в Нижний Новгород совсем недавно, Шпала — высокий костлявый Пашок, который когда сломал ногу, измазал гипс в машинном масле и он стал сильно похож на шпалу, а Пашок на рельсу. С якутом костлявый были друзья не разлей вода, потому и бились. Закусились из-за того, что якут про маму Шпалы что-то неудачно ляпнул, а Шпала маму любил, боготворил, единственного родителя, вот и завязалось. Поединок проходил после уроков в цоколе школы, учителя сюда не заглядывали, народу набивалось много, стояли вокруг бойцов шумным кольцом.

Шпала колошматил Батыя, размашисто выбрасывая вихляющиеся на шарнирах коленца рук и ног и редко попадал. Низкорослый коротколапый Батый семенил ударами, как заводная игрушка, еле дотягиваясь другу до живота. Ярость на бледном лице Шпалы полыхала красным блуждающим огнем, Батый дрался со сморщенной, как ранний весенний гриб, физиономией.

— Давай, бей! Вмажь ему коленкой, Шпал! Ну!

— Батя, не тупи, бей в чашечку, используй преимущество!

— Нырком, нырком! Головой бей, Батя!

— Шпалыч, в макушку лупи! По кумполу настучи ему!

— Ну же, Батый, делай захват под коленку! Ну!

Надо, конечно, понимать дух эпохи, девяностые это расцвет всевозможных бойцовских кружков и секций, объявления о которых покрывали бумажными ворохами столбы — ушу, кунг фу, карате до, кёкусинкай, джиу-джитсу — названия хлынувших из-за бугра единоборств заучивали и трепетно повторяли про себя все мальчишки, уговаривая родителей отвести в зал, раскошелиться.

Кёкусинкай!

Но бледные вертолетные плети Шпалиных рук летали мимо вёрткого якута, который приноровился и бил друга по бедрам. Шпала попал один раз, больно, костяшкой, разбив якуту губу о верхний клык. Батый заплакал, как младенец, резанул криком громко, с обидой на весь мир, и вдруг Шпала бросился перед ним на колени, стал отрывать руки от разбитого рта и только шептал, перепуганный до смерти:

— Покажь! Покажь! Что у тебя? Что? Я не сильно же! Прости! Блин, прости меня!

Сергей с Азизом, посмеиваясь, отвалили, шоу закончилось, рядом шли семиклашки:

— Зря он так Батю, у него брат с Русланом дружбан, конец теперь Шпале!

— Фигá! Ты откуда знаешь?

И будто услышав разговор, Батый оборвал плач, оттолкнул Шпалу, и кровавым ртом закричал:

— Я брату скажу, он Руслана позовет! Тебе конец, понял? — грозил неуклюже Батый фразами из боевиков с Брюсом Ли и Чаком Норрисом, поразивших мальчишек того времени раз и на всю жизнь.

Азиз покатился со смеху, услышав жалобные угрозы. Серега взял его за шею и, сам еле сдерживая смех, потащил Азиза к выходу, нельзя глумиться, нельзя разрушать пацанскую драму — тем более сегодня схватились друзья.

Руслан, конечно, никогда не узнал про поединок. Азиз хотел рассказать ему, повеселить, но Рус в тот день был не в духе и парни быстро пришипились. Рядом с Русланом все они были на правах мелочевки на подхвате, а потому сидели на кортах, лузгали семечки, да посматривали, да помалкивали.

Даже Русланова Олька, бывало, пацанами помыкала, посылая за жвачками «Турбо» и «Лав из» в ларек. Для Руса разве что своенравный и дерзкий Азиз не был рядовой шестеркой. В остальном иерархия была вертикальной.

Шпала и Батый быстро помирились и на следующий день на перемене в деталях разбирали поединок: «а я ему такой р-р-аз! а он такой ставит блок, а я ему с ноги как пробью по печени, и он хоп! и на меня, я уворачиваюсь, а он мне такой бац рикошетом в плечо! а я ему в бедро ды-дыщь, а он такой хоп и как зарядит мне в грудак! но я тут же в разворот и кия! ему такой...», и так до бесконечности, как будто фильм новый обсуждали, взятый папкой в видеопрокате на выходные. Вскрики восторга то и дело прерывали бурное повествование, Шпала и Батый толкали друг дружку локтями, перебивая, выдвигая каждый свою версию, непохожую на рассказ противника.

Шпала и Батый дружили всю жизнь, и в институте, и потом семьями, и дети их, светловолосые Шпалы и темненькие смугленькие Батыя, бегали по пляжу, то и дело схватываясь в драке и перекручиваясь, перемешиваясь.

Когда тебе семь, ты носишься с такой бешеной скоростью, что становится прохладно от воздуха, который пытается тебе сопротивляться. Так летел Вася Рамушев, немаленький «тюленчик», как дразнили его девчонки, летел и налетел — больно, со всего маху, и поскользнулся, и упал плашмя, растянулся по полу во весь рост... В тоже мгновение сзади что-то жестяное звякнуло, перекатилось, и горячая волна морским прибоем хлынула в бедро и в спину Васе, как будто он обмочился, и каким-то пугающим объемом.

Снести ведро уборщицы считалось нехорошим поступком, порицаемым. Уборщицу Таисию Давидовну, женщину строгую, суровую, с крючковатым носом с капелькой бородавки на конце и близко поставленными быстрыми глазами, все любили. За то, что постоянно ворчала, но никогда не ругалась, была добра к школьникам. А иногда и драки разнимала, плачущих с расквашенными носами в медпункт водила, рассыпанные по полу рюкзаки и пеналы собирала.

Таисия Давидовна была единственным человеком на свете, который мог влепить затрещину самому Руслану, лихую и крепкую. Все ее любили, один Руслан в школе обходил стороной, и правда что, кого таким бояться, кроме собственной матери.

От матери не всегда несло орехово-пыльным духом мокрого паркета, старые учителя судачили, что почти сорок лет назад Тася блистала неземной красотой благородных армянских красавиц. Острые иглы маленьких смоляных глаз, длинный сабельный нос, тонкие ноги и изящные бледные руки, все притягивало восхищенные взгляды мужчин и женщин, удивленные взгляды, что такая гордая горная птица делает в наших краях, в неволе.

Знали и то, что молодая Тася оказалась в Горьком, бывшем Нижнем Новгороде, после пединститута по распределению, и здесь неожиданно вышла замуж. Но ее первый и единственный муж был мало того, что заместителем прокурора города, так еще и азербайджанцем. За что, как говорили, хотя Таисия жестко обрывала подобные разговоры, родители запретили ей возвращаться домой в родное горное село на границе Армении и Азербайджана.

Хуже всего, что родительское проклятие не сплотило молодых супругов — двух горячих горцев на чужбине, и вскоре после рождения Руслана отец сбежал на родину, где геройски погиб в первые дни карабахской войны в конце восьмидесятых. Руслан помнил с детства единственную в бумагах матери черно-белую фотографию, испещренную пятнами камуфляжа, морщинами кирзовых сапог, крошевом камня у подножия горы, треками гусениц танков и — довольными укутанными в бороды улыбками бравых бойцов. Фотографию с фронта отец прислал чтобы помириться с женой и матерью первенца, о чем оставил на обороте надпись. Таисия не давала ее прочесть, и Руслан просто знал, что там нацарапаны последние слова его отца.

По повадкам и масти Руслан пошел, рассуждала и будто досадовала мать, в ее русского деда — белокожий, сутулый, угрюмый, вольнолюбивый. От отца сын перенял резкий нрав и особенную хмурую беспощадность, которая вспыхивала в его глазах как порох и мгновенно меняла цвет лица, будто в чистую воду падала черная капля. Кавказская вспыльчивость плюс русская тяжесть характера.

Саша, Серега, Азиз, Шрам, да что там, вся школа помнила тот дождь и ту кровь. Дело происходило на стадионе, что возвышался на плоском холме рядом со школой. Моросил дождь, угрожая начать молотить крупными зернами, по стадиону спешно, рысцой, бежали темно-синие батальончики начинающих промокать школьников, и тут у выхода все увидели сцену.

Долговязый мужчина в бежевой летней куртке и синих джинсах стоял в полунаклоне и что-то громко и грубо выговаривал маленькой, лет двенадцати, дочке, мокнущей в розовом, праздничном платье. Ревела девочка, судя по обилию соплей на крошечном личике и судя по густо-вишневому его цвету, давно и упорно. Вдруг из ее рта с бледно-розовой каемкой губ полетели брызги, как из баллончика, и тут же она затопала, закричала, стала размахивать фарфоровыми ручками! На что отец ответил неожиданно, настолько, что колонна школьников начала останавливаться и сминаться, как пехота, налетев на упавшего впереди кавалериста... Отец одной рукой дочку схватил, а другой начал бить, наотмашь, открытой ладонью, начал лупить и хлестать этот розовый бантик — по щекам, губам и зубам, да так сильно, что почти сразу на лице девочки появились красные брызги. Тут же над стадионом взмыл визг, как будто точильного круга коснулись каленой сталью, и кажется, испугался даже дождь, сразу схлынул.

Через мгновение от дорожки у школы к боксеру-папаше ринулись — женщина с отвисшим животом, болтающимся складкой в желтой тянущейся блузе, и мужчина, плотный, квадратный, как фигурка нэцке, — бежал и будто толкал себя. Через минуту они должны были настичь и остановить яростного папашу, который продолжал выбивать из дочки розовую взвесь из дождя и крови, но тут произошло нечто неожиданное.

От лавочек у стадиона метнулась, как камень из пращи, небольшая плотная тень и через мгновение оказалась в центре событий. Школьники едва успели заметить знакомый силуэт Руслана, как снизу мелькнула рука и послышался короткий сухой хлопок, похожий на звук кастаньет. Удар в подбородок был настолько сильным, что папаша не заметил, как отправился в нокаут, с высоты своего роста ткнувшись лбом в блестящий абразив асфальта. На этом кино не закончилось. Руслану показалось мало и он опустил каблук на переносицу лежащего тела, каблук был как будто гранитным, так смачно там хрустнуло-щелкнуло. Тут на шею Руслану опустилась рука подбежавшего нэцке, но кажется, мужик не определился, он хочет схватить или просто остановить старшеклассника... Зато определился Руслан. Хотя квадратный мужик был в три раза шире его, Рус развернулся и коротким ударом — всадил, как стамеску, острый носик ботинка прямо под коленную чашечку нэцке. Мужик взвыл. Еще сильнее завыла окровавленная девочка.

Побоище закончилось сценой, на которую школьники не знали, как реагировать, — на Руслана с кулаками бросилась женщина с желтым животом, он увернулся, схватил ее сзади за волосы и, чуть не опрокинув, посадил ее на асфальт на задницу. Раскорячилась баба смешно, гыгыкнула пара самых смешливых школьников, остальные в страхе разбежались по домам, шлепая по лужам с разведенной в них марганцовкой крови. Руслан ушел последним, он хотел утешить девочку, но та бросилась на него отомстить за папашу и он от греха подальше сбежал. К ужасу ребятни школы №35 кровавые лужи оставались на стадионе долго, пока их не высушило солнце, сгустив, а затем превратив багрово-грязную пленку в сухую пыль.

У директора Игоря Моисеевича руки тряслись размашисто и заметно. Про дикий во всех смыслах случай на стадионе написали в местной газете, приезжали из общегородской, звонили с местного телевидения, избитые изувеченные мужики давили на милицию, угрожали педагогам, но Руслану все сошло с рук. Хватило одного короткого звонка в районный отдел УВД из городской прокуратуры, где отца Руслана помнили и чтили. Тут же узнавший обо всем начальник областного ГУВД разве что попросил побеседовать с Русланом, и с ним аккуратно поговорили, мол, нельзя калечить людей, настоящие мужчины должны вопросы разруливать, а не крошить всех подряд направо налево, ну нахрена ты второго-то поломал? Руслан как будто все понял и ни слова не сказал, только кивнул два раза. После похода его в прокуратуру все успокоилось, он продолжил учиться, хотя долго не появлялся в школе.

Отныне на районе его боялись все взрослые, от дворника до физрука, имели к тому все причины. Директор школы Игорь Моисеевич и начальник районного УВД предпочитали Руслана не замечать, о его существовании не помнить. Учителя ставили тройки автоматом, лишь бы не оставлять Руслана еще на год. Школьники бесконечно пересказывали обрастающую все более жуткими подробностями легенду о стадионном побоище и отрабатывали фирменные удары на коленных чашечках самых слабых в классе, или на младших братьях и сестрах дома.

Вероятно, вы спросите, что сказала и сделала Русу мать? Если бы вы подобное осмелились спросить у него, Руслан бы долго смотрел вам в глаза. Но ничего б не ответил.

Дядя был в плавании, тетка на его счастье в командировке в Москве. Таисия Давидовна на несколько недель перестала готовить дома ужин, хотя всю жизнь, сколько Руслан себя помнил, это была железная, незыблемая и чуть ли не единственная семейная традиция, которая не нарушилась даже в день, когда прислали отцовскую похоронку — каменное изваяние матери стояло у плиты, не замечая, как антрекот превращается в твердую горелую резину. Яркие подвиги неожиданно выросшего сына нарушили распорядок семьи, который не смогла сломать война.

Первые дни Рус лежал голодным, вытянув ноги на спинку кровати, устраивая кукольный театр пахучими колпачками носков, разглядывая на стене истертые солнцем обои. А когда голодать надоело, подошел к матери и, как ни в чем не бывало, спросил: «ма, че сегодня хавать будем?» Мать не ответила, сына не заметила. Совсем изголодавшись, Рус сидел на кухне и пил чай с пятью ложками сахара, а когда мать приходила налить воды, вопросительно-требовательно смотрел на нее, выворачивая шею, заглядывая в глаза, но уже не заговаривал — сам гордый. А еще, конечно, мать побаивался, не устроила бы чего-нибудь хуже.

Характер у Таи был пожалуй тверже отцовского. Отец был зверь и жесточь, но под ее взглядом — быстро умолкал.

Через две недели исхудавший Рус сорвался из комнаты в кухню, чуть лоб не расшибив — услышал звонкий треск масла и домашний сладковатый дух жарящейся картошки...

Мать поставила тяжелую баржу чугунной сковородки перед ним на стол, села напротив, и долго через ароматный пар смотрела сыну не в глаза, а выше, в лоб, и он смотрел на нее — с угрюмой, напряженной надеждой. Когда картошка подостыла, и пар выдохся, мать встала и уходя произнесла, глухо и будто бы равнодушно:

— Ешь. Хорошо, что мы не на Кавказе.

Обжигая язык и щеки, он жевал мягкие с хрустящей корочкой брусочки самой вкусной на свете картошки с чешуйками прозрачного лука. Он старался не замечать, как с затылка за шиворот сползает неприятный холодок обиды.

Руслан изменился, пацаны заметили. Сидел на корточках, играл на пальце скрученным с «шестисотого» значком Мерседеса, часами смотрел поверх идущей мимо школоты; молчал чаще, наказывал злее, но в глазах то и дело взблескивало что-то виноватое, жалобное, тут же сменяясь угрюмой злобой, будто Руслан подавлял неожиданную слабину.

Внезапно появившуюся сложность, заминку во внутренней его жизни заметили только близкие друзья, всю остальную школу легендарный Рус парализовал одним своим появлением. Причем, непонятно, чего было больше, уважения к защитнику девочки или ужаса перед опасным старшеклассником, почти преступником.

Руслан конечно считывал страх окружающих, улавливал его характер, понимал, что он подходит к опасной черте неприязни и отчуждения, и где-то в глубине своей бесстрашной души боялся остаться один. Он страдал и вместе с тем злился, что ему на это не наплевать, и злость по кругу усиливала страх и трепет людей перед ним.

Серега понял, что происходило в душе кумира много позже, когда жизнь его самого поставила перед выбором или самому упасть в яму, или ударить безвинного человека. Сергей выбрал второе, но потом долго не мог простить этого себе.

Руслана спасло падение, став кульминацией надлома, да-да, самое настоящее — об асфальт.

Вам бы понравился Руслан. Он мог ударить, избить, унизить, сломать руку. Но ломая ее, он никогда бы не предал, не продал. Он разорвал бы любого, кто поднимет руку на *его* человека, при этом сам был безжалостен к своим друзьям. Никому не отдаст — сам убьет. Я не знаю, как называется этот эффект, но за то мы любили его, верили, были ему верны, с готовностью отдавая руки в его клешни — пускай ломает. Нет, нас никто не заставлял, мы правда его любили. Клянусь. И весь мир был чужим, а жестокий Руслан — родным.

Однажды он предложил положить Шрама на спину, а его предплечье откинуть на бордюр, под углом к асфальту — ну и прыгнуть на руку, посмотреть, сломается, нет? Решил поспорить.

Шрам убегал, сопротивлялся, ныл, пацаны ржали, тащили силой, затем отпустили, и Шрам лег сам, с улыбкой, с нервным похохатыванием — а что, ему тоже интересно!

Готовый прыгнуть, Руслан смотрел сверху, собрав под лицом-маской складки, с ехидной и злой полуулыбочкой, смотрел, смотрел, как будто накачивался, как насос воздухом, яростью, даже капли на лбу выступили, и наконец, когда все уже поняли, что он не прыгнет, он прыгнул. Шрам жутко заорал.

Те-не-ри-фе!

Те-не-ри-фе!

Бывают слова, которые крутятся в голове с детства, всю жизнь, как эхо, и не отстают. Непонятно, чего в них особенного, но не дают покоя.

Или вот *рыжье*.

С детства, со школы, с тех самых пор, с девяностых.

Рыжье есть? Есть — рыжье?

Рыжьем в девяностые называли золото. Цвет, значит, у золота такой, рыжий. Так говорили приблатненные пацаны, которые нарисовались однажды в августе у дверей нашей школы.

Всего через каких-нибудь десять лет подобный конфликт невозможно будет объяснить нормальному человеку, но то время имело собственные сверхценные артефакты, за которые кололи ножами и садились в тюрьмы: норковая шапка *целиковка* (настоящая ушанка из меха норки с завязанными на макушке ушами) или *формовка* (имитация ушей, штампованная шапка на специальной форме), при этом норковая шапка должна быть высокой, как неприступная башня, а волоски, торчащие вверх, расчесанные, наэлектризованные.

Далее. Золотая или латунная *печатка*, то есть огромный мужской перстень, в разных вариантах — или бугорок могилы с венком, или пересеченная по диагонали плита памятника, или оскаленная раскрытой пастью выпуклая голова льва. Выкидные, сбоку или из торца, ножички, лязгающие тяжело и пугающе. Пухлые, темнокоричневые, с лаковой лоснящейся кожей, похожие на жуков переростков *барсетки* — мужские сумки для денег-документов-пистолетов; барсетки воровали из машин, срезали с ремешков, а то и вырывали из рук на бегу, к слову, также сбивали и норковые шапки. Золотые цепи, *двойные*, *тройные*, толстые в палец или плоские, как дохлые сухие ужи на проселочной дороге. Отдельная недосягаемая для простого люда сфера электроники — видеоплееры, *пишущие* и *непишущие*, *видеодвойки* с маленьким телевизором и видеомагнитофоном в одном корпусе, что красовались на кухнях богачей, *портативные аудиоплееры*, у которых вечно разбалтывались и отваливались крышки, и наконец, аудиосистема с обязательным двухкассетником между двух мощных сетчатых черных колонок. Двухкассетник в доме обязателен! Иначе как ты перепишешь взятую на день кассету с «кисами», «асидиси», «модерн токингом», Высоцким, Цоем, Летовым, Янкой Дягилевой?

В школе №35 училось три с половиной тысячи учеников, в классах сидело по сорок-сорок пять голов. Поэтому когда Сережа пришел в школу в синем спортивном костюмчике с яркими белыми тройными лампасами, он конечно не думал, что никто ничего не заметит, он мог предположить… Но чтобы до такой степени!

Это был настоящий Adidas. Адик. Оригинальный. Правильный. *Тот самый*. Привезенный из-за границы, и, во что двадцать лет спустя невозможно будет поверить, сделанный не в Индии или Китае... **В Америке**. Когда Сережа в этом адике вошел и направился в класс на третьем этаже, жизнь во всей школе остановилась. Будто громкий телевизор вырубили из розетки. Дети застыли. Учителя замерли. Воздух превратился в прозрачное стекло, кипятком обжигающее Сережу со всех сторон.

Костюм сидел ладненько. Гладкие снаружи и ворсистые изнутри синтетические штанишки с толстыми, нашитыми в три добротные строчки, лампасами. Неглубокие кармашки, с молниями. Внизу короткие, сантиметров по семь, вертикальные молнии, для регулировки ширины штанин, для кроссовок. В поясе вшита резинка с торчащими спереди белыми завязками. Но главное, у кармана, на правой стороне, — тот самый легендарный прорезанный горизонтальными линиями трилистник с надписью под ним «Adidas» — ровно то, о чем мечтали, что снилось и чего до судорог и дрожащих век хотелось всем подросткам начала девяностых.

Лампасы и эмблема были и на курточке. И длинная твердая белая молния. Сережа шел по первому этажу. Шел и перед ним, как перед огромным кораблем, надувалась гигантская волна всеобщего восхищения, и конечно же, лютой зависти.

Адик. Настоящий. Во всем городе таких костюмов было с десяток, не больше.

Через десять минут Сережа был в кабинете директора. А на следующий день вызванной в школу маме Сережи высказала классная, с приниженностью просьбы, но с пониманием своей власти:

— Да, конечно... у нас ничего не запрещено, но все-таки педсовет настоятельно… рекомендует… просит, крайне настоятельно… знаете ли...

И на полтона ниже, с улыбкой, в которой металла было больше, чем улыбки:

— Вы же понимаете, просто ребята, вся школа… завидуют… Только об этом и разговоры. Не об учебе. А заграничные вещи… — попытка брезгливой ухмылки на верхней губе, — Вещи... Они о них мечтают. Дети... Зачем их дразнить?

Под лоснящейся синей синтетикой у Сережи ворочалась горделивая волна превосходства — это *ему* завидуют, это *он* сегодня поставил всю школу на уши, *он, он, он* завтра великодушно придет в обычной школьной форме, со снисходительной улыбочкой глядя на одноклассников, как бы говоря им: хорошо, ради вас я буду ходить в привычном мешковатом старье, лишь бы вы не полопались от досады!

— …ы чо, за рыжье возьмем, слы…? — начало и окончание каждой фразы съедались, Багор лузгал семечки: пихал их в рот одну за другой и выплевывал, как будто там у него стояла специальная машинка по очистке.

Руслан буркнул невнятное, и тогда второй, Липкий, с пол-оборота завелся и истерично завопил, как уголовник из советского фильма:

— Эй! Ты че буровишь?! Тебе нормальные пацаны вопрос задали! Че ты шкеришься, как падла? А?! — Липкий покраснел и лоб его тут же стал влажным и липким.

Руслан и глазом не моргнул от наезда старших пацанов, хотя сильно напрягся.

— …ебе рыжье предлагают, слышь, че ты телишьс… — спокойно прошипел Багор и черно-белые шелушинки испуганно полетели из его рта, — …ышь, есть зажига у тебя? — Багор достал сигарету и кивнул Руслану, тот полез в карман.

Серега, Азиз, Олька стояли за Русланом бледные. Внешне Багор и Липкий, гопники с Яблоневой, улицы на задах, в овраге, не выглядели угрожающе. Если бы вся округа, от Печер и Родионова до Усилова и Сенной не знала, что Багор недавно сделал ходку, что мотал он пятеру, за конкретный разбой, а Липкого так вообще считали убийцей двух пацанов на Гребном, было громкое жуткое дело: у реки в песке нашли двух школьников, посаженных на перо. Подозревали и таскали в ментовку многих, но Липкого, который все лето напролет ошивался на местных пляжах, рядом с сумочками отдыхающих, следователь чаще всех вызывал на допрос.

Багор, верзила с грушевидным телом, увенчанным волдырем бритой бугристой головы, и его дружбан Липкий, нервный, потливый коротышка, — он ни секунды не стоял на месте, пританцовывая и подпрыгивая, смахивая челку с прыщавого лба, пришли к школе по наводке — купить спортивный костюм.

Серега на свое счастье был в школьной форме, но главное — за него впрягся Руслан. Автоматически, как вожак стаи.

При том, что Рус при желании мог в одиночку завалить и грушевидного и танцора, он боялся их не меньше, чем переминавшиеся у него за спиной. Ровно такая же шпана, разве чуть старше, Багор и Липкий, в отличие от нас, были связаны со всесильным в то время уголовным миром, и главное, эта профессиональная гопота была замазана в «мокрых делах», то есть попробовала крови, и потому школьники во главе с Русланом были перед ними дети. У нас было все впереди.

— Я не в курсах, мужики… Реально. — веско сказал Руслан.

Багор вильнул жирной каплей тела, челка его напарника клейкой лентой прилипла ко лбу. Они ухмыльнулись.

— …ышь, мужики знаешь где?

— Давай по понятиям его прогоним, че думаешь? Русланчик, мужики в поле пашут! — задиристо взвизгнул Липкий.

Руслан еле заметно, у шеи, покраснел.

— Пацаны, реально, я не знаю за Адик, бля буду…

— А не пиздишь?

— Если будет че, дам знать...

— Ладно, ладно, Русланчик, мы тебе верим…

Багор отвернул верхнюю часть тела, Липкий опустил голову, уставившись на острые ботинки Руса. В этот момент из школы донесся длинный, переходящий в гул и гром бегущих ботинок, звонок окончания учебного дня — и на улицу из широких дверей стайками начали выбегать дети.

— …автра от нас человек подскочит. — прогудел Багор. — Слышь?

Руслан кивнул, Багор закурил и протянул зажигалку, Рус хотел взять, но тот с ухмылкой разжал пальцы и зажигалка упала на асфальт. Пластмасска подпрыгнула, Рус потянулся было поднять, но тут Багор с размаху пнул наискось, выбив зажигалку, как шайбу клюшкой, и она улетела в траву. Руслан замер с протянутой рукой. Баки его терпения были сухими. Багор мотнул животом и они с усмехающимся Липким двинули.

— Ладно, шкеты, бывайте! Си ю, как грицца...

Руслан выпрямился, но так и стоял, к нам не оборачиваясь. За его спиной мы делали вид, что ничего не видели. Разглядывали кто небо, кто асфальт и очень боялись теперь самого Руслана.

Айртон Сенна. Как мы называли его «Аэртон», что-то от «аэро», от летчиков, пилотов, одним из которых Сенна и был… Гениальный, лучший в истории гонщик Формулы 1, погибший на трассе на глазах у всего мира в 1994 году.

Когда подросли, мало кто следил за гонками, но в начале девяностых смотреть Формулу было модно. Но память о бразильском пилоте, кудрявом черноволосом вечном победителе Айртоне, за которым ватагой, жужжащим хвостом круг за кругом вились остальные гонщики и никто не мог догнать, — эта память осталась. И грусть оттого что гений так рано ушел. Лермонтов скоростных трасс.

1994 год. Монотонные визжащие завывания гонок по телевизору в зале, где кровать родителей, на стене ковер, и похожая на деревянную птичью клетку застекленная лоджия. Пи-и-уу-у-у, пи-и-у-у-у, пи-и-и-у-у-у-у-у — дымящиеся черные валики колес, вздрагивающие от перегрузок в нишах боллидов шлемы гонщиков, — пи-и-у-у-у, пи-и-у-у-у — звук, расходящийся из узких щелочек под колесами вширь, рассыпающийся как хвост кометы... Немой, неслышный в трансляции удар, и непобедимый *Аэртон* Сенна гибнет в прямом эфире, впечатываясь на скорости 310 км/ч в стену и навсегда — в память маленького Сережи.

Аэртон! Аэртон! Спустя десятилетия Сережа вбивал это имя в Гугле и легендарного гонщика, кумира миллионов, нашел не сразу.

Иногда посреди дня, посреди кипящей бурной жизни останавливаясь, замирая, вынуждая себя никуда не торопиться и постоять молча, ничего не делая, у окна, Сергей пытался сбить ритм стремительной повседневности, как высокую температуру.

Застыть, ни о чем не думать, зависнуть в ослепительно сером небе — как в море. Заглушить двигатели, отдаться волне.

Как некоторые животные при виде опасности падают и лежат вялой тряпочкой, притворяясь мертвыми.

Или — подойти к самому краю необъятной градирни вселенского ноля, мысленно броситься вниз, в клубящийся пар.

Стоять у окна на кухне и, переключая внимание с улицы, слушать, как спешит по трубам водопровода глупая суетливая вода.

У площадей есть памятники, у людей есть памятники. У площадей снаружи, у людей внутри. Подобно тому, как Ленин одиноко и неизменно стоял на площади Ленина, внутри Сергея под золотящим солнцем, под хлестким дождем, под бродячим ветром простиралась суверенной страной — Площадь Отца. Отец стоял у окна вполоборота, спиной к холодильнику, и смотрел вниз на фонарь, днем затерянный среди тополей, ночью одинокий, горящий, манящий, спускающий до асфальта туманно-желтое платье.

Стоял у окна и думал. За спиной у плиты челноком туда-сюда — плита-мойка-стол — сновала мама. После смерти отца Сергей вместо него заступил на вахту у окна, как в почетный караул, и тоже стоял, смотрел на фонарь, думал, изредка мама открывала холодильник, легонько толкая в спину.

Детство было жарким, как бесконечное лето. Душное, пыльное, на улицу из дома выбегаешь с голым торсом, в домашних тапках, как будто вся улица твой дом, и это пьянило. Улица желтая, прокаленная, подслеповатая от солнца, когда от лезущих беспардонно в глаза лучей некуда деться — только держать из ладошки козырек.

Вынырнув из под толстого одеяла зимы, сбросив легкую прохладную, вытканную из звонких ручейков весну, лето являлось грузно, наваливалось потным налитым пивом мужиком в переполненном автобусе — он тормозит и тело валится на тебя, обдавая вонючим подмышечным духом, и сразу откатывается обратно, как мортира после залпа, и шипит с брызгами: «Проссстите... Ик... Изззвините…»

Лето. Жара. Петух.

Тридцать лет Серега помнил черного петуха, которого они изловили в частном секторе и сожрали. Дело было на откосе, у Волги. Сашка и Шрам, был кто-то с ними еще... Оля? В самом убийстве Серега не участвовал, он пришел, когда Шрам догрызал подгоревшие на костре останки плохоощипанного петуха. Сашка валялся на песке довольный, сытый, губы и щеки шелковые от жира, чертил веточкой иероглиф. Шрам, обсасывая последние косточки и дробя, как орехи, хрящики, начал рассказывать, как непросто оказалось петуха «замочить»... Живучий попался, сука. Топили в речке, держали бошку под водой полчаса, пока на эту сторону Гребного плыли, а доплыли, вынули — кудахчет, орет, падла!

Пацаны вечно ходили голодными. И потому что растущие подростки, и потому что дома почти не кормили. Что мать Сашки, что Шрама, обе бухали, осаждая круглосуточные чапки. Сегодня и слово такое умерло — «чапок», да и матери умерли, их мужья, отцы и отчимы пацанов, и те, кто пришел им на смену — все отбыли в мир иной. Это не пять волн эмиграций, эта русская катастрофа страшнее — пьяная многомиллионная эмиграция семей девяностых в хмельное небытие, философские пароходы невменяемо мычащих мам с фингалами под глазами, синих опухших от спирта с трясущимися руками отцов, а у кого-то и благообразные бабушки спивались, в нашем доме разбитая на левую половину старуха водку из горла хлестала и смешно крякала.

Алкогольная Атлантида переломной эпохи.

Сережина мама однажды вернулась из магазина:

— Помнишь Алевтину?

— Это какую?

— Алевтина... на молочной кухне работала, тебе ряженку и лактобактерин я у нее брала, она за денежку откладывала…

— Вроде помню… — Алевтину не помнил, конечно, но помнил стеклянные бутылочки с толстыми горлышками под соску и с мерными делениями на боках, заткнутые не пробками, а ватками — заботливо, для детишек.

— Иду сейчас, — мать стаскивала бежевый матерчатый плащ, венгерский, дефицитный, отец «достал», — иду, вижу... у дороги еле стоит, мотается, пьянущая вдрызг… Рожа синяя. В собственную калошу ссыт.

Отпечаталась картинка, как пощечина. Мать сказала как прожгла в детской голове. Стоит Алевтина и в калошу ссыт — где-то там, в девяностых, как будто на острове, который омывает, холодно и равнодушно, океан забвения.

И про все говорили не купил, а — *достал*, папа то достал, папа это достал... сосиски импортные польские в красных железных банках, стол полированный раздвижной, тяжелый хрусталь, сегодня ненужный даже барахольщикам… Казалось, место, где все есть, находится где-то под потолком, как верхняя полка в плацкартном вагоне, настолько высоко, что даже папа вынужден прыгать и доставать... сосиски, плащи, шоколад, шерсть, коньяк, новый телевизор.

А еще — врезалось на всю жизнь.

Едем с отцом на автобусе, вдоль дороги — плакаты, плакаты, плакаты. На всех написано одно слово.

— Папа, а что такое Перестройка? Все дома будут разбирать и заново перестраивать?

— Да, сынок, так и будет…

И отец ухмыляется в светло-русые молодые усы. А сам смотрит куда-то вдаль и поверх, вникуда. И наверное ему радостно, тревожно и страшно, куда этот автобус всех нас везет.

Как щелчок переключателя, Серега четко помнил момент, когда кончилось детство и яркий свет обнажил глубину нового пространства — возраста следующего. За плечами остался, несмотря на все тяготы и унижения детства, безопасный уют жизни в оболочке безответственности и чужого обожания, будто ты был мягкой игрушкой, чьей-то влюбленностью. А теперь вдруг нужно стало, чтобы уважали, чтобы чаще называли по имени, захотелось удивить друзей заметным, может, жестоким — поступком.

Прыгнуть с первого этажа на машину Семеныча?

Вырвать качающийся зуб пассатижами?

Поджечь машкиного хомяка?

Повесить кошку?

Кровь, как гуляш на плите, начинала пузыриться, булькать, греметь крышкой.

Сережа с Азизом и Кузьмой с Усилова занялись гоп-стопом на откосе. Весело, лихо, иногда прибыльно.

Откосом называли высокое холмистое правобережье Волги в районе Сенной — Фруктовой — Родионова, все спуски, тропинки, овраги, склоны, все, что вело к воде и к Гребному каналу, отгороженному косой от основного русла. Улица Фруктовая вилась наверху, от нее через дорогу, что шла по кромке холма, вниз к реке нырял широкий размашистый овраг, и за ним начинался откос — свободное дикое пространство природы, пересеченная местность перелесков, кустарников, холмов и дорожек. От площади Сенной (где «били женщину кнутом», о чем рассказывали в школе, хотя это не та площадь, но про женщину все равно вспоминалось) к Гребному каналу полого и длинно спускалось шоссе, а в начале спуска, на холме, прямо на краю обрыва, высился могучий Нижегородский трамплин. Девяностометровый, «в три девятиэтажки», как деловито добавляли пацаны, он был похож на гигантскую космическую станцию, на трамплин не вниз, а вверх, в жуткую высоту полета, в самые небеса, куда в старом советском кино уходил по лестнице барон Мюнхгаузен.

Сережа был однажды на самом верху, на стартовой площадке, похожей на полукруглую челюсть, с которой зимой по снегу, а летом по специальному искусственному покрытию прыгали спортсмены трамплинисты. Там Сережа, дрожа лопатками на пронизывающем ветру, старательно выцарапал на железной стене слово «хуй». От тупого гвоздя надпись оказалась не сильно заметной, но пацаны Серегу зауважали. Если ты написал «хуй» на самой высокой в городе точке, ты достоин признания стаи. Спросите у любого мальчишки на свете.

От широкого полотна трамплина, где было место приземления и финального спуска, вниз шла тонкая, ломкая, сваренная из арматуры лестница, по которой пацаны и девчонки окрестных районов спускались на пляж.

Черная блестящая коробочка, добытая гоп-стопом под этой лестницей, пережила Серегино детство, чудом сохранилась в его вещах. Круглая и плоская, по форме напоминающая старинный царский пятак.

Ноги мальчика тряслись, как будто его душили. Тонкие, белые, как недопечённый французский багет. Сильно заношенная кепка «Речфлот» слетела с головы в желтую густую пыль, мальчик стоял, что-то пытаясь сказать, но заикался так, что не было понятно ни слова. Серый поймал кураж и прессовал жертву по полной:

— Че ты там бормочешь? Че, лямой, что ли? Ну ка давай резче! Оглох совсем?!

Серега грубо схватил сумку, которую держал мальчик, дернул, вырвал из рук. Мальчик дрожал уже как в припадке, мышиная мордочка с кувшинчиком носа покраснела и хлюпала. Его друг, парень покрупнее, застыл чуть позади, выпятив нижнюю губу и собрав лицо в задумчивый кулачок.

Тактика Сереги была — нахрап и крик, хотя жертва нередко была крупнее и старше, но он подлетал дерзко, резко, нагло, сразу ломал дистанцию, толкал, теснил, хватал сумку и орал в ухо, парализуя волю жертвы, вызывая рефлекторный испуг. После чего продолжал наседать, не давая ни вздохнуть, ни опомниться.

У тонконогого мальчика из кривого кошелька рта потекла слюна, Кузьма поморщился и отвернулся, Азиз ухмыльнулся, хотел было заглянуть в отнятую сумку, но Серега вытряхнул ее на землю.

— Не тр… не тр… Там ничего… нич… мама… мама собр… — у тонконогого как будто в голове отошли контакты и речь прерывалась хаотичной азбукой Морзе.

— Да бля, закройся! — гаркнул Серега.

— Смотри, не обоссысь тут! — заржал Азиз.

Не раз потом со стыдом прокручивая сцену из далекого детства, Серега удивлялся, с чего они, совсем мальцы еще, были такими злыми, но тут же вспоминал, что ярость та была неестественная, нарочитая, нагнетаемая изо всех сил, чтобы впервые в жизни почувствовать себя сильными, теми, кого боятся. Вот что будоражило, что сносило, как утром первая сигарета.

Из сумки на песок застенчиво и виновато, бочком, выкатилась неуклюжая толстуха — банка с компотом, к полупрозрачной крышке которой изнутри прижались ягоды смородины. Мамочка позаботилась — сыночку собрала питье на жаркий пляж.

Банку разбили, даже не выпили, варвары. Тонконогий разревелся. Правда, уже когда пацаны ушли. От нервов, видимо. Из добычи забрали бутерброды, раскрошенное печенье Курабье с точками джема по центру, да ту самую выпавшую из сумки плоскую круглую коробочку.

— Че это? — спросил Серега, пытаясь ее открыть.

— Эт… эт… папа поп.. попросил куп… купить. Д… д… домой надо.

Коробочку забрали. В ней, как изящная ножка насекомого, лежала запасная иголка для проигрывателя, новенькая, с беленьким колпачком. Когда пацаны открыли коробочку там, в пыли и песке под трамплином, показалось, что это существо из другого мира.

Хранилась у Сереги много лет ненужная. Наверное, до сих пор где-то валяется.

Гоп-стопщик Серега довыпендривался. Поколотили его основательно. Палкой по башке, так, что отскакивала от черепа с веселым деревянным стуком. Серега долго помнил даже не звук, а удивление — надо же, я могу издавать такие звуки, а еще — заполняющую все тело, как сосуд, огненную боль. Очень обидную боль к тому же.

Вечером стояли с Кузьмой у подъезда, ждали Шрама, должен был вернуться от деда из Астрахани, воблы сушеной подогнать, твердой, выточенной будто из серого рябого камня. Кузьма лузгал семечки, быстро выращивая под собой горку из легких шелушиных крылышек.

— Блин, хорош уже! — недовольно крикнул Кузьма, но Серега его не слышал. А только монотонно бил по железной трубе, подпирающей козырек подъезда, метровой палкой, да не простой палкой — дубовая, белая, гладкая, свежевыточенная на токарном станке красавица! Ее оставалось только распилить пополам, чтобы получились две «колотшуки», по-японски — сакон и юкон — для нунчаков.

Пацаны по стране поголовно делали нунчаки. Легендарный боец и актер Брюс Ли с перекошенным в крике лицом бросался с диким криком «кияяяяя!» и летел вертушкой, выбрасывая ногу выше головы, и постсоветский перестроечный мальчик столбенел перед экраном в священном восторге! А вечером ждал папу из видеосалона с новой обменной кассетой с истертой от количества просмотров бумажной этикеткой, заляпанной предыдущими зрителями, но с очередной драгоценностью внутри — в черной священной коробке жил фильм с Брюсом Ли, Чаком Норрисом, Ван Даммом, а то и со Сталлоне или с самим Шварцем! Шварц! — запанибратски называли мы Арнольда Шварценеггера, главного качка эпохи, первого друга нашего детства, парня из соседнего подъезда! Смотрел новое кино со Шварцем? Да-а-а-а! А видел, как он из базуки бахнул и склад на воздух взлетел — быдыщь!! Да-а-а-а-а!

Палку Серега упросил выточить из старой швабры на токарном станке одноклассника Леню, паренька молчаливого и не умеющего отказывать. Далее варианта два: после распила на две колотушки закруглить концы сначала крупной, а потом отшлифовать мелкой шкуркой, затем или просверлить палки и продеть толстую веревку, то есть сделать нунчаки на узлах, или все-таки искать гвозди, откусывать шляпки, затачивать оба конца, гнуть в скобы, и аккуратно, чтобы не расколоть древесину, вколачивать их в торцы колотушек и уже — крепить на цепь. Технологию Серега продумал. Получится убойная вещь. Но где брать материал и инструмент, если взрослым нельзя говорить про оружие? Как бы выкрутился Шварц? Хотя нунчаки это скорее к Брюсу.

Кузьма намолотил из шелухи уже небольшой курган под ногами, как вдруг они увидели в начале улицы Катюху, старшеклассницу по прозвищу Вишня. Кузьма перестал лузгать семки, Серега колотить трубу, оба расплылись в придурковато-томных улыбках — Вишня мгновенно превращала мальчишек всей школы во влажное желе. Хороша была девочка настолько, что даже молодые мамы одноклассников, не говоря уже про педсостав, любовались и восхищено завидовали. Миниатюрная, ладненькая, в меру полная, как будто только что выпеченная, и тело, и руки, и ноги, и личико, и лоб — все это выпуклое, подарочное, пышущее свежестью, — и особенно грудь не по годам, и крутая попа, и женственные покатые плечи, и бедра, когда шла мягко, враскачку, будто она не по улице, а по дому в тапочках идет.

На такую мелочь пузатую, как Серега или Кузьма, Вишня внимания не обращала, и пацаны обычно помалкивали, чтобы своего постыдного восхищения не выдать, но в этот раз что-то пошло не так... В голове Сережи, как смеялся много после Кузьмин, «нунчаки начинку повредили» и он — ляпнул. Когда Вишня, поравнявшись с ними, уже было прошла мимо, Сережа вдруг с басовитым хохотком крикнул… и ладно бы что-то невразумительное, глупое — выкрутились бы. Но он отмочил сальность, нечто настолько похабное, что шутку бы поняли разве что трактористы-механизаторы в его деревне.

Минут через десять Серегу с Кузьмой, жалобно вскрикивающих, скороговоркой извиняющихся, вытащили из подвала за хрустящие уши, как вскрытую ячейку партизан.

Когда вели по улице, Серега почувствовал себя тяжелым и тупым. Кузьмин предательски размяк, жалобно и звонко завопив:

— А я-то че? Я че?! Пацаны... пацаны, братцы, я ни слова не сказал! Это он трепался! Я ни слова, Жила, слышь, я ни слова!

Особенно резануло Серегу вот это «братцы», и когда ты, сука, успел породниться с этими кончеными?

Как военнопленных их волокли к тупому затылку сидящего на краю песочницы человека с покатыми плечами. Рыхлые, полные, будто плечи немолодой женщины, они наполняли, как молоко в пластиковом пакете, лоснящийся «адик» и по ярко синему неблагородному его цвету было понятно, что костюм — подделка. Массивным, как валун, задом Жила сидел на хилом бортике деревянной песочницы. Туда, как щенят тигру в клетку, ему бросили пацанов.

Катька была тут. Наклонилась к бритому затылку, шепнула что-то, кивнув на Кузьму, и валун синего цвета шевельнулся. Серега исподлобья снизу вверх рассматривал Жилу — крупного молодого мужика, уже сидевшего, блатного, но зоной еще не потрепанного, первого мужчину Вишенки, которую он трахал с четырнадцатилетнего возраста. Жила был старший брат Багра и, как говорили подруги их необъятной мамаши, «слабенький на головку», то есть слабоумный, с длинной записью в желтой потрепанной карте психоневрологического диспансера, где среди путанных пружин врачебного почерка можно было различить фразу про «…степень дебильности…» Степень у Жилы была не такая уж высокая, он едва умел писать, не мог учиться, но запугивать, вымогать деньги, воровать, избивать и сворачивать бошки крупным дворовым псам, которых сначала гладил и ласкал — умел еще как. Тем и опасен был, что сходил за нормального.

— Ну, осознание появилось? Или дополнительно прояснить?

Жила тяжелым взглядом косил на Серегу, но говорил Кузьме. Тот быстро закивал, будто его голова поплавок и у него клюнуло.

— А теперь нахуй отсюда сбрызнул! — взревел вдруг Жила.

Кузьма мгновенно вынырнул из песочницы, плеснув песком на Серегу. Жила повернул свою жирную острую как у муравьеда морду к Катюхе и кивнул на оставшегося партизана.

— Данный товарищ? В наличии, так сказать...

Жила по какой-то неведомой причине даже со своей Вишенкой говорил так, как разговаривают в поликлиниках и ЖЭКах, что добавляло дураку-гопнику важности в глазах окружающих.

— У нас должно появиться сознание, что с дамами так выражаться непозволительно. Уяснил?

В нарочито мудреных фразах он ставил слова местами так, как ему вздумается.

— Ты же Серега, насколько я понимаю? Итак, Серега, доложи нам вразумительно происходящее и продублируй, так сказать, сказанное, а?

— А можно не надо, ки-и-с? — сморщилась Катька, но Жила вдруг вскочил, поднял ногу, занес ее над Серегой, угрожая его растоптать, и страшно заорал:

— Что ты, падаль, сказал, а-а-а-а?! Будешь еще, будешь, сучонок?! А-а-а?!!

Испуганный Серега упал на спину, вжал голову в плечи, схватился за бортик песочницы, другой рукой попытался закрыться... Жила продолжал вопить:

— А-а-а?! Ты-ы!! Падла!! Тварь!! Будешь знать, как выражаться, а-а-а?!

В песочнице стало жарко, пыльно, тесно. Объемистый окорок ноги висел над Серегой, Жила орал, плевался, но вдруг резко устал. И в ту же секунду увидел в руке у стоящей рядом Вишни палку.

— Это что? Ну ка дай-ка. Сейчас осознание будем внушать, в прерогативном порядке...

Жила схватил белую гладкую палку, заботливо взял за шею вставшего на колени Серегу, прижал к ноге, а другой рукой, как топором, начал рубящими движениями колотить его палкой по голове — прямо по острому холмику макушки. Палка пружинила и отлетала, издавая упругие звуки... Серега орал на всю улицу.

— Ай, я не могу! Бляяя! Я не могу! Ахахаха! Я представляю! Не могу! — Руслан скатился с бревна и боком повалился на траву, от смеха у него текли слезы. Одной рукой держалась за живот, другой прикрывала ротик Оля. От смеха задыхался Сашка, похохатывал и жутко улыбался Шрам.

А Серегу будто ритмично обливали кипятком, ковш за ковшом! Он думал, что идет к друганам, рассказать, пожаловаться, вместе подумать, как отомстить... А они вот так, ржать, суки! И Серега не выдержал — вскочил, закричал, что-то горькое, из самого перекипающего нутра! — и тут же слова превратились в рыдания.

Руслан и остальные остановились, замерли, уставились на неожиданный моноспектакль — как Серега, еще совсем ребенок, хотя секунду назад был крутой пацан, стоял перед ними и из носа его лились сопли, изо рта слюни, а из раскрасневшихся глаз потоки слез. Зрелище жуткое, жалкое.

Оля отвернулась, Сашка закусил губу, а Руслан сделал то, о чем Серега будет помнить всю жизнь.

Вдруг побледнев, сделавшись серьезным, злым, Рус резко, в два шага, подлетел к Сереге и — со всего маху, с правой, треснул хлесткую пощечину по его красной мокрой роже, да так, что брызнуло во все стороны, а Серега едва не рухнул на асфальт. Упасть ему Руслан не дал — тут же ударил с левой, и уже не ладонью, а кулаком, и, поняв, что его сейчас забьют до смерти, Серега нырнул вверх, как из воды, чтобы набрать воздуха, дернулся вбок и — со всех ног побежал. Руслан ринулся за ним и начал пинать по ногам, по заднице, по спине, подпрыгивая, яростно, хлестко, острым концом ботинка, непонятно, как Серега на ногах устоял.

Все происходило в полной страшной тишине — под молчаливыми взглядами всей компании. От очередного меткого удара Серега упал и содрал об асфальт руку и подбородок — до кровавой арбузной мякоти. А когда он, испуганно воя, поднял голову, мотая красной бородой на подбородке, готовый выхватить еще один мощный удар — вокруг никого уже не было.

\*\*\*

По тому, что берет на хранение память, можно понять, из чего состоит человек. Память хозяйственная запасливая старушка с ограниченным погребом и небольшим чуланом, куда она складывает только самое нужное, то, что ее внучок кушает и пьет. Любимый компотик с плавающими в невесомости абрикосами, банки с печально взирающими из-за стекла бледными помидорами, патронташ пленного чеснока, добытая в окопах пехота чумазых картофелин. По запасам можно узнать про тех, кого бабушка любит.

Кто я без своей боли? — смеялся над дребезжанием детских трагедий Серега. — Это мой капитал! Мои неудачи, детские страхи, обиды, которые я постоянно докладываю на счет. Собираю по всему покинутому временем заброшенному залу детства, как котят бездомных, орущих до хрипоты.

Если не можешь забыть упругий сухой щелчок палки об твою голову… то что? — тут Сергей Сергеевичу резко захотелось выпить, — То — что? Избить кого-нибудь? Стукнуть? Передать эстафету?

И вдруг неизвестный, но знакомый голос говорил:

— Нет. Не бойся. Ты бери удары, бережно, аккуратно, заворачивай каждый в невесомую хрусткую папиросную бумагу, перекладывай ватой, как елочные игрушки, чтоб не стукались, и складывай в коробочку...

А коробку завязывай веревкой и убирай на шкаф.

Никогда ее не открывай.

— Понял? И главное — ничего не бойся. Тому тебя и учили все детство.

\*\*\*

В одиннадцатом выпускном классе — и как он только до него добрался — Руслан спровоцировал некрасивую историю с учителем истории и каламбур этот оказался громким, чуть не дошло до драки, до смертоубийства. В итоге директор школы весной на колени готов был бухнуться перед коллегами, чтобы проставили Руслану тройки и отпустили с миром и аттестатом подальше от школы.

Руслан быстро вырос и игрушки стали его страшны.

Рассказывали, что однажды он сильно избил отца. Разбил его «Волгу».

Говорили, что добычей Руса — в первобытном, сексуальном смысле — стала географичка Лидия Иосифовна, высокая, белокурая, тонкая, как лезвие, похожая на киноактрису и немного странная женщина, слишком смешливая и легкомысленная, не похожая на учителок того времени... Муж ее, офицер, пропадал на службе, поговаривали, служил в разведке. И это навевало еще больший ужас перед возможной развязкой.

В середине девяностых Руслан, схоронив маму Таю, которую сжег рак, плотно сел на иглу, на героин, и скололся до смоляных воспаленно-черных, испуганно прячущихся в руки сожженных вен.

Лечили, били, запирали, прятали в дурку — ничего не брало болезнь. Колол героин в пах, ночевал в канализационных стоках, впадал в безумие, в беспамятство, верно и упрямо шел к гибели, теряя остатки человеческого.

Тетка риэлторша (своих детей так и не завела) в итоге решилась, подняла связи, собрала в кулак волю, силы, сестринскую жалость и боль — и отправила Руслана в Чечню. Воевать.

\*\*\*

Вот они, еще видны, выщербины на стене, от памятного выстрела, Серега вспомнил, как еще подростками сделали с братом «поджиг» — сплющенную с одного края короткую трубу набивали, как порохом, счищенной со спичек серой, после чего, задолго до фильма «Брат», забивали в ствол рубленные гвозди, поверх засовывали войлочный круглый пыж, кусочек старого валенка, затем поджигали и прятались, — адская машинка жахала со всей дури, словно пушка времен Петра Первого.

Из небольших окошек летела прохлада, как будто с моря, разгоняя духоту лестничной площадки. Летняя темнота двора снаружи шептала, журчала, скреблась, как живая. Из квартир то и дело доносился то бодрый парадный голос телевизора, то жалобное мяуканье ребенка, то звонкий смех женщины проникал через стены. Здесь, на лестничной площадке между пятым и шестым этажом, где была выбита лампочка, с пацанами зависали постоянно, тихо, мирно сидели на корточках, как молчаливые птицы.

Эта встреча произошла уже когда им было хорошо за двадцать, все отучились, повзрослели, уже работали, у кого-то подрастали детки. Пересеклись случайно, зашли выпить на ту же площадку, где десятилетия назад стреляли гвоздями в стены.

Руслан, все такой же худой и бледный, но потрепанный, с лицом, испещренным язвами, с совсем темными кругами вокруг глаз, сплюнул, с мелким писком пустив слюну сквозь передние зубы, так плеваться, вбивая струйку в пол, тогда было шиком. Сплюнул еще раз и будто в ответ в вышине девятиэтажки ухнул и взвыл электромотор, и тут же мелким щелчком на первом этаже шоркнула кнопка — кто-то снизу вызвал лифт, наверное, Сашка едет, как обещал.

Пили в ватной глухой темноте, и хотя глаз привык и Сережа ориентировался среди черных на черном силуэтах, в глазах рябило темными вязаными частичками, знаете, как серым цветом шумит телевизор без антенны. Сидели «на кортах», образуя треугольник. Жопы внизу, как шайбы, обтянутым пахом вперед, худые колени вверх и врозь, руки локтями на коленках — висящей в воздухе кистью удобно держать стаканчик. Разливали в хрустящие пластиковые стаканчики, уровень сколько налито смотрели на окошко, на слабый свет фонаря. Пили не чокаясь, молча, со слышными глотками и горячими выдохами, изредка Сашка шаркал ногой и тогда пахло пыльным бетоном и как будто эхом — церемония уничтожения пузыря в подъезде напоминала экспериментальную театральную постановку. Сереге водка заходила плохо, неуживчивая, своенравная, постоянно просилась обратно, танцуя где-то в верхних этажах, на подступах к желудку, но нужно перетерпеть, ни в коем случае не кашлять, а лучше вдохнуть и горло закупорить, задержать дыхание, и тогда вторая, третья и далее пойдут нормально.

В темноте сильнее всего светилось белое, словно вырезанное по форме маски, лицо Руслана, вытянутое, со сверкающими в черных провалах как в зимних лунках глазами. Он сильно похудел, плечи, локти, колени заострились, и горские корни оттого проявились в его фигуре сильнее, осанка, стать, и что-то резкое, гнутое, птичье. Хотя и было неуловимое, но точное у Сереги ощущение, что Рус стал мягче, спокойнее, добрее, равнодушнее что ли.

В тот вечер Серега видел кумира детства в последний раз.

Где-то наверху, этаже на восьмом, как будто в далеком кинозале взвизгнула и начала кричать и ругаться женщина. Сашка усмехнулся о чем-то своем, шаркнул ногой, женщина прибавила громкости, мы стали прислушиваться, как расплющенные камбалы на дне морском прислушиваются к шуму корабельных винтов.

— Ну... значит, если ты говоришь, что был в Грозном в марте девяносто шестого, то я был в марте пятого, одни улицы с тобой топтали, землячок.

Руслан говорил глухо, нехотя продолжая начатый Сашкой разговор. Сашка тоже попал в первую Чеченскую, в экипаже бэтэра, как он говорил, «катался». С Русланом они виделись нечасто, но когда виделись, всегда о войне говорили, как я понял.

— Получается, так, но вам там было совсем пиздец... — Сашка сидел с опущенной головой, он нормально выпил.

— Ну ладно, у вас тоже считай топка была.

— Не, не, пекло у вас было, у нас так, курорт... — настаивал друг.

Потом Серега почитал в интернете и разгадал, о чем шла речь. Видимо, Руслан участвовал в штурме Грозного, который был зимой-весной 1995 года, а Сашка попал в замес в Грозном весной следующего, 1996 года, когда на город напали боевики. Саша горел, но легко отделался, нетяжелой контузией, про подвиги Руслана никто ничего не знал.

Руслан протянул бутылку, плеснул всем по «полкрышечки», выпили.

— За пацанов.

— За...

Даже голоса в тот момент у них стали будто одинаковыми. Руслан выпил, задержав дыхание, достал из нагрудного кармана сигарету, прижал к носу — занюхнул.

Вдруг Серега брякнул:

— Рус, ну а ты чо, реально пулеметчиком был?

Саша резко поднял голову, уставился на Серегу, которому, видимо, водка уже сожгла мозги.

— Нет, ты извини, старик, — продолжал Серега непьяным голосом, — просто пацаны говорили... что пулеметчиком... Я хотел спросить, много ты положил этих, ну, чехов...

Серега уставился на Руслана. Настырно, три раза подряд оконное стекло боднула муха. Наверху взвизгнула и начала плакать женщина. Ритмическую фразу подхватил всплеск детского топота этажом ниже, крика и смеха, будто с детьми играли в догонялки. Вдруг Сереге на мгновение показалось, что он падает, валится вперед, в темноту, голова закружилась, оперся рукой о холодный пол.

Сашка протянул стакан, Руслан налил. Но выпивать не спешили.

— Так что... Правда пулеметчиком был? — Серега не унимался, нарывался.

Руслан плеснул и ему. Сереге вдруг показалось, что он не задавал только что двух вопросов, ему это почудилось.

Серега выпил, горячая, в заусенцах, дорожка водки потекла по горлу в глубину тела. Стало тихо, женщина перестала плакать, замерли дети. Пацаны сидели, пространство зарастало тишиной, она смешивалась с темнотой, образуя густой душный войлок. Из окна подул прохладный ветерок, спрыгнул водопадом, пошевелил волосы на Сашкиной голове. Так, наверное, они шевелились, вспархивали, когда там, в Чечне, рядом рвались гранаты, бомбы, пьяно подумал Серега.

Больше они не виделись в таком составе. Уже в ту встречу Серега был чужим и далеким, да и малопонятным им. Недавно закончил институт, филфак, работает на телеке, женился, живет где-то в центре... Говорить с Сашкой и Русом и ему было не о чем, общих тем и интересов не находилось.

А после той встречи Сереге было конечно немного стыдно. Спросить у пулеметчика убивал ли он людей. Ну надо же было додуматься. Задать самый идиотский вопрос из всех существующих.

Руслан успел жениться, родить пацана. Долгое время работал водителем пассажирского ПАЗика, чем очень гордился и, видимо, прилично зарабатывал. Возил людей, жена сидела рядом кондуктором, маршрут «двойки», что шла от Московского вокзала, через Речной, площадь Минина, Сенную и до Верхних Печор...

Потом Рус начал пить, запоями, тяжелыми, длинными, как блокада, в итоге бросил работу, автобус забрали за долги. Далее в памяти Сереги долгий пробел, на много лет, так как он уехал в Москву. А потом он случайно узнал, что Рус умер. Банальный цирроз.

Рус отправился в эмиграцию. Хлопая штанинами, навстречу морским ветрам бледным худым лицом.

Заколотили в ящик, погрузили в трюм парохода.

Оброк улицы Фруктовой — времени и стране.

На пятом резко открылась дверь, как будто весь вечер соседка стояла за ней и ждала момента. Открылся тамбур, расстелив на полу полосу желтого света. Любовь Ивановна, соседка Сереги, тяжело зашагала отекшими ногами к нам, к мусоропроводу. Ведро стучало по ноге. Она взошла, выпрямилась, открыла мусоропровод и начала вытряхивать ведро, даже по донышку постучала — картофельные очистки держались до последнего. Лязгнув жестяной челюстью дверцы, Любовь Ивановна зашагала обратно. Живой гнилостно-овощной запах помойки заполнил площадку, проникнув сразу во все ее уголки.

Мы сидели тихо, не шевелясь, в темноте нас она не заметила. Только в самом низу лестницы, уходя, будто что-то почувствовав, остановилась, оглянулась, возможно, увидела силуэты, но ничего не сказала.

*2021 — 2023 г.г.*